

УДК 316.733

Колодий Наталья Андреевна, д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой культурологии и социальной коммуникации Института социально-гуманитарных технологий ТПУ.

E-mail: kolodi@rambler.ru

Область научных интересов: феноменологическая философия, постструктуралистская философия культуры, социальная философия, социальная антропология.

ЛАБИРИНТ ПАМЯТИ – МЕСТА ПАМЯТИ – ВОЙНА ПАМЯТИ: ОПЫТ ИСТОЛКОВАНИЯ

Н.А. Колодий

Томский политехнический университет

E-mail: kolodi@rambler.ru

Анализируется сложившаяся система философско-культурологических подходов к феномену культурной памяти, модусам её существования в постсоциалистических обществах, а также реконструируются возможные паттерны культурной памяти и их участие в формировании коллективной идентичности, некоторых современных социальных практик.

Ключевые слова:

Культурная память, мнемонический поворот, режим памяти, коллективная память, коллективная травма, эстетизация памяти, ностальгия, паттерны памяти.

Непосредственным импульсом к написанию этой статьи стала фраза, которая была опубликована в одном из либеральных российских журналов. В этой фразе отчётливо было выражено сетование на то, что современным мемуарам о Великой Отечественной войне недостаёт противоречивости, сложности, они полны будничности, каких-то незначимых деталей. А современные семиотические и визуальные исследования представляют войну как одно из самых травматических событий, многоплановых, с чудовищной правдой, жестокостью. Когнитивный диссонанс – налицо. Но он ощущаем самими исследователями, а не носителями памяти. Причём, претензии к памяти поколений или семейной памяти настолько распространены, что уже не удивляют.

Вчитаемся в один из фрагментов статьи историка И. Щербаковой: «При этом надо учитывать, что семейная память в России, как правило, очень неглубока, очень сегментирована, даже когда речь идет не только о памяти о репрессиях, но и о памяти о войне. Кроме того, и память живых свидетелей не дает понимания причинно-следственных связей и отнюдь не всегда «работает» на восстановление исторической правды, углубление и усложнение картины прошлого. Она часто является источником мощной советской мифологии в духе «а мой дедушка говорил, что при Сталине было хорошо, что без Сталина мы бы войну не выиграли, что мы с именем Сталина ходили в атаку» и т. д. Сегодня уже все труднее говорить о передаче непосредственных живых впечатлений о войне – они скорее передаются опосредованно – через призму брежневской эпохи – это очень сильно смещает угол зрения. Именно этим сегодня можно объяснить те деформации в сознании, прежде всего молодых, с которыми мы сталкиваемся» [1].

Здесь нет даже упоминаний о том, что память – это всегда есть нечто избирательное, субъективное, локальное, существующее по иным законам, нежели историческое знание. Да и оно перестало претендовать на объективность, универсализм, истинность. Не воспринята в нашем обществе и критика метанарративов в отношении режима коллективной памяти, следствием которой было признание многообразия мемориальных практик, репрезентирующих разному прошлое. В результате такой критики сам собой исчез вопрос об истинности модусов памяти, так как постмодернисты доказали, что вопрос об истинности в конечном итоге – это вопрос о форме социального контроля, вопрос о микрофизике власти, реализуемой интерпретаторами прошлого.

И вместо того, чтобы обсудить как «работает» историческая память, режимы памяти; проблему того, каково в ней соотношение между индивидуальным и социальным опытом, меж-

ду реальным и воображаемым, между плотным описанием событий и фантазией, историей и мифом, мы предъявляем счёт вспоминающим.

Определимся изначально с понятиями. Есть ряд понятий, которые характеризуют современную ситуацию «бума памяти»: социальная память, культурная память, коллективная память, национальная память, историческая память [2]. Мы в качестве рабочего будем использовать определение исторической памяти. Оно следующее: историческая память – это коллективные представления социума о прошлом. Эти представления очень противоречивы, они не выстраиваются в строгую иерархию или систему. В постсоветской России они с особой цепкостью хранят информацию о сталинских репрессиях, войне, речи Хрущёва на 20 съезде, целине...

В монографии «Коллективная память о политических событиях: социально-психологическая перспектива» утверждается, что «в Соединенных Штатах за последние полвека, большинство взрослых людей согласится с тем, что относительно небольшое количество национальных событий оказало глубокое влияние на коллективную память американцев: Вторая мировая война, убийство Джона Ф. Кеннеди, движение за мир / против войны во Вьетнаме / Woodstock период Уотергейта, и, возможно, взрыв космического корабля Challenger. Это не означает, что другие чрезвычайно важные события не происходят», но они не становятся структурной составляющей самоидентификации общества [3. Р. 20].

Для современных исследователей важны даже не сами эти представления, а то, как они актуализируются в коллективных представлениях, как приобретают особое значение для интеграции групп, социума.

Любопытный факт бросается в глаза, когда начинаешь систематизировать междисциплинарные подходы, сложившиеся в социальных науках, а возможно – и в гуманитаристике, по отношению к памяти. Западные исследователи мгновенно институционализируют свои изыскания. И сегодня уже правомерно говорить о *memory studies* [3–6], в рамках которых (подобно визуальным исследованиям) последовательно изучают политику памяти, режимы памяти, лицо памяти... Отечественные гуманитарии всё больше пишут о «буме» памяти. Или – о мемориальном повороте. Идея многочисленных поворотов: лингвистического, визуального, антропологического, детского в нашем обществе – похожа на тиранию незавершённого действия. Ссылка на эти риторические клише уже ничего не объясняет.

Некоторые из современных культурологов характеризуют сегодняшнюю ситуацию в культуре, связанную с необыкновенной интенсификацией концепта памяти вообще (и исторической памяти – в частности), «мемориальной революцией» [7. С. 55]. А саму культуру, переживающую этот бум, «помнящей культурой» [7. С. 54]. Это и закономерно, и случайно одновременно.

Закономерно потому, что социальные практики и теоретики, исследующие феномен массового сознания, всегда обращали внимание на природу и сущность исторической памяти, ибо она – цементирующее звено в любой культурной среде, ибо она, по выражению историка А. Ассман, – память, созидаящая коллективную, национальную общность [7]. Закономерно потому, что в условиях трансформации постсоветского общества на авансцену социума выступает травмированное сознание, и, следовательно – травмированная память этого социума, который в очередной раз требует целительного трактования, понимания. Целителями выступают указанные представители социальных наук.

Закономерно еще и потому, что рефреном звучит призыв: об избавлении от коллективных неврозов общества, от коллективных травм, от бремени скрытых или непроявленных комплексов. Золотые перья от науки обещают это.

Державно-патриотические настроения, распространённые в обществе, – они тоже ведут к конфликту модусов памяти и к обсуждению этой проблематики. Всё дело только в расстановке акцентов и в интонации. Более всего напрягают благостные рассуждения о запаздывающем синдроме, догоняющем синдроме России и российской постсоветской культуры. В контексте этих рассуждений прошлое предстаёт незавершённым проектом по впрыгиванию в поезд европейской цивилизации. Последняя – оплот цивилизации вообще, культуры как таковой, хранительницы ценностей, смыслов, идеалов, рациональности. А память предстаёт калейдоскопом несвязанных между собой осколков, крох прошлого. Удивительное дело – даже африканские исследователи после волны постколониальных исследований, культурных (феминистских, урбанистических) отработали сеть категорий, с помощью которых они отражают современную

идентичность: уникальность, постколониальное, поставторитарное прошлое, а мы всё мечемся в плену набивших оскомину дихотомий: Запад-Восток, геополитическое своеобразие – универсализм, модернизация – традиционализм. И никак не возникает свет в тоннеле. Самые изощрённые дебаты о том, чем отличаются современные культурные исследования от культурологии, чем они обогатили современный подход к культурам, значимы для самих методологов, и ни один из инструментариев не использован в полной мере.

Есть опасение, что и мемориальный поворот, вкупе с лингвистическим, нарративным, антропологическим – останется сам по себе предметом дискуссий. Но не вооружит конкретным инструментарием гуманитариев-исследователей. Методологов в любой из социальных наук больше, нежели эмпириков-исследователей. Симптомом этого является хотя бы то, что стратегии современного прочтения мемуарной литературы, текстов остаются прежними, хотя сообщество методологов-культурологов ведут дискуссии о концепте чтения Р. Шартье о том, как повлияла эта концепция на союзнические по отношению к герменевтике научные дискурсы, например, исторические, антропологические [8].

В странах, которые пережили бум памяти уже давно, и более того – там, где переживание коллективной травмы привело к посттравматической ситуации, другая проблема – эстетизация войны, террора, страдания. Причём, эстетизация свершается на бессознательном уровне, ибо практики музейной работы не предполагают простое хранение документов, текстов, предметов повседневной культуры, а изначально каталогизируют мир вещей, текстов, предметов на базе продуманной системы критериев музейной деятельности. Хотя было бы неправильно утверждать, что проблема того, как создавать музеи, хранящие овеществлённое страдание, геноцид, террор, не обсуждается в современном обществе. И если раньше она звучала как проблема памяти после Освенцима, то сейчас – как проблема создания и существования «негативных» исторических экспозиций [9].

Особенно явно эта проблема проявилась и вызвала оживлённое обсуждение после открытия в замке Нойхарденберг 29 апреля 2012 г. под Берлином выставки «ГУЛАГ: следы и свидетельства». На ней были представлены в основном материалы архивного и музейного фонда Международного Мемориала. Концепция и сценарный проект создавались при участии Музея Бухенвальда и Миттельбау-Дора. Символом выставки изначально была реконструированная по изображению Татлина башня. Смысл этой конструкции – вызывать ассоциации, связанные с авторитарной системой сталинизма, и одновременно – быть символом утопичности проекта нового человека и общества. Модель совершенно сознательно была сооружена у входа. Предполагалось, что деконструкция этой башни, осуществлённая организаторами сознательно, символизирует процесс превращения советской утопии в антиутопию по Е. Замятину. Музейными объектами в этой разрушенной башне стали сани, на которых узники лагерей возили уголь; сломанные нары, ломы, тачки, кайло. Реконструкция, воссоздание истории и судьбы человека из лагерной пыли – вот что объективно стало сверхцелью выставки. Её атмосфера должна была напоминать стихию платоновского котлована. Перевернутая карта СССР тоже была помещена неслучайно. В этом образе отчётливо прочитывается вздыбленная страна, пережившая катастрофу, затем испытывавшая амнезию, молчание, забвение. Образ Другой памяти создаётся здесь абсолютно отчётливо, не в последнюю очередь благодаря экспонатам, всевозможным таблицам с количественными данными, статистическим выкладкам, графикам, отражающим волны сталинских репрессий, но в целом – благодаря вот такой «работе памяти». Таким образом, налицо, с одной стороны, недооценка роли и значения исторической памяти одним из её собственников, а с другой стороны, эстетизация этой памяти. И лишь изредка – как это сделали авторы сборника «Оспоренное прошлое: политика памяти» [4], есть анализ противоречий. Впрочем, для западных исследователей такой разворот не случаен. Режимы памяти, работа памяти, национальные паттерны памяти – это всё сюжеты исследований последнего времени [4]. Парадоксы травматической памяти, ностальгия как современный модус памяти, постпамять раскрывают работу памяти куда лучше, нежели доминирующий у нас эссенциалистский подход.

О чём свидетельствует подобная эстетизация или замалчивание травм? Отвечая на эти вопросы, логично каким-то образом систематизировать уроки «бума памяти», буквально сегодня переживаемого. Можно зафиксировать три эпохи в общегуманитарных подходах к индиви-

дуальной и коллективной памяти. Первая эпоха отличается от других признанием исторической памяти своеобразной лисьей норой. Помнится, такой образ сознания существовал со времён С. Кьеркегора. Существенным отличием этой эпохи является эссенциалистская трактовка памяти, т. е. через характеристику сущности, раз и навсегда данной в определении. Итак, изначальная характеристика памяти – это признание её лабиринтом, с неизведанными дорогами, которые обнаруживают нечто из того, что было. Но философ Ф. Ницше трактовал память анти-эссенциалистски. Он подчёркивал сконструированность образов памяти, присутствие в них вторичных по своему происхождению эмоций, значимость данных образов для конституирования в сознании образа настоящего и будущего [10]. Тогда как современная исследовательница Я. Ассман уже говорит о другой конструкции времени, соотношения образов времени в современном сознании. Разумеется, внимание к проблеме исторической памяти усилилось после завершения Второй мировой войны. В Германии благодаря трудам социолога Т. Адорно общество обсуждало тему вины и ответственности, коллективной травмы, «ослабленной памяти», помогающей изжить подобную травму [11]. В бывшем Советском Союзе до конца 80-х гг. звучала главным образом тема героического сопротивления фашизму.

На исходе XX в. (рубеж 70–80-х гг.) в социальных науках появились теории, фундаментальные систематическое исследование проблем памяти. Среди них решающую, на мой взгляд, роль сыграла теория фреймов, акцентирующая внимание на так называемом «рамочном анализе» (основатель – И. Гофман). Согласно этим воззрениям, память – это одно из необходимых условий, детерминирующих активность человека, социальных групп, акторов. Личная биография индивида, социальный опыт группы, накопленный символический капитал – вся система этих факторов обусловила реконструкцию контекста, всё это «генерировало обобщения более высокого уровня: контекстуализм стал нормой «понимания», «объяснения», исследования» [10], а так называемый культурализм внятно интерпретировал то, что фреймы, жизненный опыт культурно детерминированы. История, культура, с точки зрения исследователей той поры, например, П. Бурдьё, встроена, инкорпорирована посредством габитуса в жизненный мир индивида, социальной группы.

Но ещё М. Хальбвакс, погибший в стенах концлагеря, доказал, что изучение коллективной памяти невозможно вне контекстуализма и культурализма [12].

Правда, его занимало гораздо больше обоснование того, что именно коллективная память задаёт контекст памяти индивида, она является своеобразной культурной матрицей для неё. Коллективную память отличает некий непрерывный континуум смыслов, символов, ритуалов. Собственник этой памяти – социальные группы.

Характеризуя эту проблему, Хальбвакс замечал: «У каждой из этих групп своя история. В ней можно различить фигуры и события. Но поражает нас то, что в памяти, тем не менее, на передний план выступают сходства. Рассматривая свое прошлое, группа чувствует, что она осталась той же, и осознает свою самотождественность во временном измерении... Но группа, живущая прежде всего для самой себя, стремится увековечить те чувства и образы, которые составляют материю ее мысли» [13. С. 22].

Уже Хальбвакс говорил о «местах памяти», но более всего эту идею развил П. Нора, который возглавил сообщество историков, изучающих исторические монументы, исторические хроники, справочники по национальной истории, одним словом, «места памяти», но трактуемые отнюдь не с позиций пространственного, географически-исторического детерминизма, а предельно широко: как некие сегменты культурного пространства, где память кристаллизуется, концентрируется, сохраняется. Места памяти – это «люди, события, предметы, здания, традиции, легенды, географические точки, которые окружены особой символической аурой. Их роль, прежде всего, символическая, т. е. напоминание о прошлом, наполняющее смыслом жизнь в настоящем. Важной характеристикой *lieux de memoire* является то, что они могут нести разные значения, и эти значения могут меняться. Исследователи *lieux de memoire* изучают не столько материальное или историческое «ядро» места памяти, сколько его отражение в сознании и формы его восприятия [13].

Но послевоенная история, алжирская война разрушают это идиллически-героическое представление, к тому же возникает эффект войны памяти, связанный с феноменом соскальзывающей групповой идентичности и многообразием форм групповой идентичности. И здесь мы

имеем дело отнюдь не с национальными стратегиями мемориализации, а с проблемой иного бытия в современном обществе. Некоторые исследователи объясняют это явление «закатом будущего» (А. Асман), и доминированием эпохи «вечного настоящего», иные – искусственным культивированием манипулятивной памяти. Ответственность за манипуляцию возлагается на современные СМИ, идеологов от различных партий и официальных общественных движений. Если событиями, вокруг которых велась война памяти в западных странах, становились порождённые человеком антропогенные катастрофы – Холокост, сталинский репрессивный режим, нацизм, кампучийская гражданская война, то в постсоциалистических странах мемориальные стратегии вступают в жёсткое столкновение в отношении утраты общества в целом. Ностальгия по прошлому – один из самых распространённых модусов памяти.

В Новом музее в Нью-Йорке летом 2011 г. благодаря усилиям куратора Максимилиано Джиони открылась выставка «Остальгия», само название которой является типичным и закономерным. Кураторы выставки, создатели полотен и экспозиций, реконструируя прошлое постсоциалистических стран через такую призму ностальгии, невольно оспорили это тоталитарное прошлое и более того – настаивали на возможности видеть в нём не только проявления тоталитаризма. Посетители этой выставки явно зафиксировали образ единого мира, построенного хоть и на системе дихотомий (активность/пассивность, социальность/аутизм, этическая ответственность/цинизм, эскапизм/вовлечённость, память/забвение), но какого-то внутренне цельного, органичного мира. Более того, иногда возникало устойчивое ощущение того, что здесь проявилась не только тоска Восточной Европы по своему прошлому, но и ностальгия западного человека по прошлому Восточной Европы. Это тоска по коммунитарности, азарту, креативности, романтичности. Концептуальность выставки усилило размещение на самом верхнем этаже коллажа, представленного прославленным Николаем Олейниковым (группа «Что делать»), который состоял из неких цитат философов, историков, политиков XX в., а также мемуаров, хроник. Эффект работы был связан с позиционированием креативности внутри исторического дискурса и темы ностальгии. Само расположение на верхнем этаже вертикального здания Нового Музея вызывало ассоциации восхождения от травмированной субъективности к внятному художественно-политическому самоопределению художников. А искусство обещало вполне определённое коллективное единение на основе общего опыта утопии.

Такая художественная рефлексия вступала в определённое взаимодействие с философским обоснованием лица коллективной памяти. Особый интерес вызывает современное обоснование таких привычных феноменов, как «коллективная память», «событие памяти» (А. Эткинд). В. Зверева считает, что это понятие стоит в том же ряду, что «событие» А. Бадью и упоминаемое нами раньше понятие «места памяти» [14].

А. Эткинд, характеризуя современные сражения за память или даже – войну воспоминаний, указывает на то, что события памяти, обладая сложной структурой, серийностью, приобретают разную форму, к примеру, «события памяти, отражающиеся в фазах, – M-shaped memory events; события, вспыхивающие в одной точке и потом затухающие и исчезающие, – L-shaped events; события, оставляющие долговременные следы, – Q-shape events», и каждая из форм имеет своего режиссёра и продюсера, своё лобби и своего цензора [14].

Таким образом, именно война характеризует современное состояние культурной памяти. И именно доминирующая стратегия прочтения текстов памяти позволяет, условно говоря, выигрывать или проигрывать сражения. Но дело даже не в победе того или иного варианта интерпретации истории и культуры, дело – в интенции, которая становится доминирующей и определяющей уже не «режим памяти», а культурную политику, практики определения национальной идентичности. Следовательно, выбор ключевых дат, национальных и религиозных праздников, назначение в герои и палачи в постсоциалистических обществах – процесс предельно важный и требующий ответственных решений и позиций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Щербакова И. Диалог поколений или разговор немых с глухими: Политика в отношении истории в России // Уроки Истории. XX век. URL.: <http://urokiistorii.ru/2010/31/dialog-pokolenii> (дата обращения: 20.04. 2012).

2. Ассман А. Трансформации нового режима времени // Новое литературное обозрение. 2012. № 116. URL.: <http://magazines.russ.ru/nlo/2012/116/a4-pr.html> (дата обращения: 23.12.2012).
3. Collective Memory of Political Events: Social Psychological Perspectives / Ed. by J.W. Pennebaker, D. Paez, B. Rimé. – New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1997. – 324 p.
4. Contested Pasts: the Politics of Memory / Ed. by K. Hodgkin, S. Radstone. – London: Routledge, 2003. – 292 p.
5. Memory and Cognition in Its Social Context / Ed. by R.S. Wyer Jr., Th.K. Srull. – London: Lawrence Erlbaum Associates, 1989. – 508 p.
6. In the Time of Oil: Piety, Memory, and Social Life in an Omani Town / Ed. by M.E. Limbert. – Stanford: Stanford University Press, 2010. – 263 p.
7. Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. – М.: Наука, 2004. – С. 54–55.
8. Шартье Р. Post scriptum или Двадцать лет спустя (ответы на вопросы редакции «НЛО») // Новое литературное обозрение. – 2004. – № 66. – С. 15–22.
9. Гнедовский М., Охотин Н. Страдание как экспонат или Музей строгого режима / как показывать в музеях «негативную» историю // Уроки Истории. XX век. URL <http://www.urokiistorii.ru/current/view/2528> (дата обращения: 12.12.2012).
10. Чикишева А.С. Феномен ностальгии и его проблематизация в современном культурологическом знании // Культурологический журнал. – 2012. – № 3 (9). URL: http://cr-journal.ru/rus/journals/&j_id=11 (дата обращения: 15.04.2012).
11. Адорно Т. Что значит «проработка прошлого» // Неприкосновенный запас. – 2005. – № 2–3. URL: <http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ado4.html> (дата обращения: 12.12.2012).
12. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / Пер. с фр. и вступ. статья С.Н. Зенкина. – М.: Новое издательство, 2007. – 348 с.
13. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. – 2005. – № 2–3. – С. 22–29.
14. Зверева В. Сражения за память, войны воспоминаний. Научный семинар «Война памяти: культурная динамика в России, Польше и Украине» (Кембридж, Кингс-колледж, 4–5 июня 2010) // НЛО. – 2011. – № 107. URL.: <http://magazines.russ.ru/nlo/2011/107/zv51.html> (дата обращения: 27.12.2011).

Поступила 29.01.2013 г.